## Рыжий

Уильям Сомерсет Моэм

Перевод Е. Бучацкая

Шкипер сунул руку в карман брюк и с трудом — он был толст, а карманы у него были не сбоку, а спереди — вытащил большие серебряные часы. Взглянув на них, он перевел взгляд на заходящее солнце.

Канак-рулевой посмотрел на него, но ничего не сказал. Шкипер не отрывал глаз от острова, к которому они приближались. Белая линия пены обозначала риф. Он знал, что в нем должен быть проход, достаточно широкий для его судна, и полагал, что увидит его, как только они подойдут немного поближе.

До наступления темноты оставалось около часа. Лагуна была глубокой и удобной для якорной стоянки. Старейшина деревни, которую он уже мог разглядеть среди кокосовых пальм, был приятелем его помощника, и ночь на берегу обещала быть приятной.

Подошел помощник, и шкипер обернулся к нему.

— Захватим с собой бутылку спиртного и пригласим девочек потанцевать.

— Я не вижу прохода, — сказал помощник.

Это был канак, красивый, смуглый парень, склонный к полноте и несколько напоминавший кого-то из последних римских императоров. Но лицо у него было тонкое, с правильными чертами.

— Я точно знаю, что проход здесь, — сказал шкипер, глядя в бинокль. — Не пойму, куда он девался. Пусть кто-нибудь из ребят посмотрит с мачты.

Помощник шкипера позвал одного из матросов и отдал ему приказание. Шкипер следил, как матрос взбирается на мачту, и стал ждать, что он скажет. Но канак лишь крикнул, что он не видит ничего, кроме сплошной линии пены. Шкипер, говоривший на языке самоа не хуже туземцев, крепко выругался.

— Пусть сидит там? — спросил помощник.

— Да что проку! — ответил шкипер. — Этот болван все равно ни черта не видит. Будь я там, наверху, я бы уж нашел проход как пить дать!

Он со злостью посмотрел на тонкую мачту. Хорошо туземцам, которые всю жизнь лазают по кокосовым пальмам! Он же тяжел и тучен.

— Слезай! — крикнул он. — Толку от тебя, как от козла молока. Придется идти вдоль рифа, пока не отыщем проход.

Его семидесятитонная парусная шхуна имела вспомогательный двигатель и, если не было встречного ветра, шла со скоростью четырех-пяти узлов. Это была изрядно потрепанная посудина. Когда-то, очень давно, она была окрашена белой краской, но сейчас стала грязной, облезлой, покрылась пятнами. Она насквозь пропахла керосином и копрой, составлявшей ее обычный груз.

Они находились в ста футах от рифа, и шкипер велел рулевому идти вдоль него, пока не достигнут прохода. Пройдя около двух миль, он понял, что проскочил его. Тогда он повернул шхуну и вновь медленно повел ее вдоль рифа. Полоса пены все тянулась, не прерываясь, а солнце стояло уже совсем низко. Проклиная тупость своей команды, шкипер скрепя сердце решил ждать до утра.

— Поворачивай! — приказал он. — Здесь нельзя бросать якорь.

Они отошли подальше в море, и вскоре стемнело. Они бросили якорь. Когда убрали парус, шхуну стало сильно качать. В Апии предсказывали, что когда-нибудь она перевернется вверх дном, и даже хозяин ее, американский немец, владелец одного из крупнейших магазинов в порту, говорил, что ни за какие деньги не согласился бы выйти на ней в море.

Кок-китаец, в белых, очень грязных и изодранных штанах и в тонкой белой рубашке, доложил, что ужин готов. Когда шкипер спустился в каюту, механик уже сидел за столом. Это был долговязый человек с худой шеей, в синем комбинезоне и тельняшке. Худые руки его были татуированы от локтя до самой кисти.

— Чертовски досадно проводить ночь в море, — сказал шкипер.

Механик ничего не ответил, и ужин продолжался в молчании. Каюта освещалась тусклой керосиновой лампой. После абрикосовых консервов, завершавших ужин, китаец принес чаю. Шкипер закурил сигару и поднялся на палубу. Теперь темная масса острова едва выделялась на фоне ночного неба. Ярко горели звезды. Лишь неумолчный шум прибоя нарушал тишину. Шкипер, усевшись в шезлонг, лениво курил. Вскоре на палубу поднялись трое или четверо матросов и уселись поодаль. У одного было банджо, у другого концертино. Они заиграли, и один из них запел. Странно звучал туземный напев, исполняемый на этих инструментах. Потом под звуки песни двое других матросов стали танцевать. Это был танец варваров, дикий, первобытный, быстрый, с резкими движениями рук, ног, с судорожными подергиваниями всего тела. В нем была чувственность, даже похоть, но без всякой страсти. Он был откровенно животный, причудливый, но без тайн, до такой степени непосредственный, что его можно было даже назвать детским.

Наконец, утомившись, матросы растянулись тут же на палубе и заснули. Все стихло.

Шкипер тяжело поднялся с шезлонга и пошел вниз по трапу. Войдя к себе в каюту, он разделся и лег. От ночной духоты он слегка задыхался.

Наутро, когда над безмятежным морем забрезжил рассвет, они увидели чуть дальше к востоку тот самый проход, который никак не могли разглядеть накануне вечером. Шхуна вошла в лагуну. На поверхности воды не было ни малейшей ряби. Глубоко внизу, между кораллами, сновали разноцветные рыбки.

Поставив судно на якорь, шкипер позавтракал и вышел на палубу. В безоблачном небе сияло солнце, но в воздухе еще ощущалась благодатная утренняя прохлада. Было воскресенье, кругом царили покой и тишина, словно сама природа отдыхала, и от этого шкипер тоже почувствовал себя необыкновенно спокойно и хорошо. Он сидел, с ленивым удовлетворением оглядывая лесистый берег. Затем губы его тронула слабая улыбка, и он швырнул окурок сигары в воду.

— Пора и на берег, — сказал он. — Шлюпку!

Он неуклюже спустился по трапу в лодку, и гребцы доставили его в маленькую бухту.

Здесь пальмы спускались к самой воде, не рядами, но все же в каком-то строгом порядке. Они напоминали кордебалет из старых дев, легкомысленных, несмотря на возраст, застывших в манерных позах, полных жеманной грации былых времен.

Шкипер медленно пошел между ними по едва заметной в густой траве извилистой тропинке. Вскоре она вывела его к речке. Через нее был перекинут мостик, вернее, не мостик, а десяток пальмовых стволов, уложенных впритык и опирающихся концами на развилки, вбитые в дно ручья. Надо было пройти по круглым гладким бревнам, узким и скользким, не имея никакой опоры для рук. Это требовало храбрости и сноровки.

Шкипер остановился в нерешительности. Но на другом берегу среди деревьев виднелась постройка европейского типа. Это заставило его решиться, и он осторожно ступил на первое бревно. Он тщательно примеривался, куда ставить ногу, и в тех местах, где был стык стволов разной толщины, с трудом удерживал равновесие. Со вздохом облегчения добрался он до последнего ствола и наконец почувствовал под ногами твердую почву. Поглощенный трудностями переправы, он не заметил, что за ним наблюдают, и с удивлением услышал обращенные к нему слова:

— Надо иметь крепкие нервы, чтобы ходить по таким мосткам, да еще без привычки.

Шкипер поднял голову и увидел перед собой человека. Очевидно, тот вышел из дома, уже ранее замеченного им.

— Я видел, что вы не сразу решились, — улыбаясь, сказал незнакомец. — Думал, вы вот-вот свалитесь.

— Как бы не так, — ответил шкипер, который вновь обрел уверенность в себе.

— Мне и самому случалось падать здесь. Помню, как-то вечером я возвращался с охоты и упал в воду в чем был, вместе с ружьем. Теперь я беру мальчика, чтобы он носил ружье.

Это был уже немолодой человек с седеющей бородкой и с худощавым лицом. На нем была рубашка без рукавов и парусиновые брюки, но не было ни носков, ни ботинок. По-английски он говорил с легким иностранным акцентом.

— Вы Нейлсон? — спросил шкипер.

— Он самый.

— Слыхал о вас. Так и думал, что вы живете в этих краях.

Шкипер последовал за Нейлсоном в маленькое бунгало и тяжело опустился в предложенное ему кресло. Пока Нейлсон ходил за виски и стаканами, он оглядел комнату.

Она поразила его. Он никогда не видел такой массы книг. Все четыре стены, от пола до потолка, занимали полки, тесно уставленные книгами. Был здесь и рояль, заваленный нотами, и большой стол с разбросанными по нему книгами и журналами.

Вид комнаты привел шкипера в смущение. Но он вспомнил, что Нейлсон слывет чудаком. Никто о нем ничего толком не знал, хотя прожил он на островах уже много лет. Однако те, кому приходилось встречаться с ним, в один голос утверждали, что он человек со странностями. По национальности он был швед.

— У вас тут уйма книг, — сказал шкипер Нейлсону, когда тот вернулся.

— Ну что ж, от них вреда нет, — ответил Нейлсон с улыбкой.

— И вы их все прочли? — полюбопытствовал шкипер.

— Бо́льшую часть.

— Я и сам люблю почитать. Регулярно получаю «Сатердей ивнинг пост».

Нейлсон налил своему гостю стакан неразбавленного виски и угостил его сигарой. Шкипер счел своим долгом сообщить ему некоторые сведения о себе.

— Я прибыл вчера вечером, но не нашел прохода. Пришлось бросить якорь в море. Мне эта стоянка не знакома, но хозяева приказали мне доставить сюда кое-какой груз. Для Грэя. Вы слыхали про такого?

— Да, у него магазин недалеко отсюда.

— Ну так вот, ему нужны консервы, а у него взамен имеется копра. Вот они и решили, что, чем стоять без дела в Апии, лучше мне отправиться сюда. Я обычно хожу между Апией и Паго-Паго, но у них там сейчас оспа, вся жизнь замерла.

Он отпил виски и закурил сигару. Шкипер по натуре был молчалив, но что-то в Нейлсоне нервировало его и заставляло говорить. Швед смотрел на него большими черными глазами, в которых мелькала легкая усмешка.

— У вас тут славный уголок.

— Да, я немало постарался.

— Ваши деревья, надо думать, дают большой доход. Они у вас хороши, а копра сейчас в цене. У меня у самого была когда-то маленькая плантация на Уполу, да пришлось ее продать.

Шкипер вновь оглядел комнату, заставленную книгами, непонятными и, казалось, враждебными ему.

— А вам тут, должно быть, скучновато, — сказал он.

— Ничего, я привык. Я ведь здесь уже двадцать пять лет.

Не зная, что еще сказать, шкипер молча курил. Нейлсону, по всей видимости, не хотелось нарушать молчание. Он задумчиво рассматривал своего гостя. Это был высокий человек, более шести футов ростом, очень полный. У него было заплывшее жиром лицо, красное и все в пятнах, а щеки покрывала сеть фиолетовых жилок. Глаза были налиты кровью, шея терялась в складках жира. Он был совершенно лыс, если не считать длинной курчавой и почти белой бахромы волос на затылке; высокий блестящий лоб, вместо того чтобы создавать видимость ума, придавал ему, напротив, необыкновенно глупый вид. На нем была голубая фланелевая рубашка, открывавшая заросшую рыжими волосами грудь, и изрядно потрепанные синие шерстяные брюки.

Гость сидел на стуле в тяжелой некрасивой позе, выпятив большой живот и широко расставив толстые ноги. Тело его утратило всякую гибкость. Нейлсон лениво задал себе вопрос, как же выглядел этот человек в молодости. Было почти невозможно представить себе, чтобы эта туша была когда-то резвым мальчишкой.

Шкипер допил свое виски, и Нейлсон пододвинул к нему бутылку.

— Угощайтесь.

Шкипер наклонился и взял бутылку своей огромной ручищей.

— А вы как попали в эти края? — спросил он.

— Я приехал на острова из-за своего здоровья. У меня было неважно с легкими, и доктора сказали, что я не проживу и года. Как видите, они ошиблись.

— Я хотел спросить, как вышло, что вы поселились именно здесь?

— Я человек сентиментальный.

— А!..

Нейлсон видел, что шкипер не имеет ни малейшего понятия о том, что он этим хотел сказать, и в его черных глазах блеснул насмешливый огонек. Но, может быть, именно потому, что шкипер был так неотесан и туп, ему шутки ради захотелось продолжить разговор.

— Когда вы шли по мосткам, вы так боялись свалиться, что вряд ли что замечали вокруг, а ведь это место считается очень красивым.

— У вас здесь славный домишко.

— Ну, его-то здесь как раз не было, когда я сюда приехал. Здесь стояла круглая туземная хижина на сваях, с остроконечной крышей, под огромным деревом с красными цветами, окруженная, как изгородью, кротоновыми кустами с желтыми, красными, золотистыми листьями. А дальше повсюду росли кокосовые пальмы, грациозные, тщеславные, как женщины. Они стояли у самой воды и целыми днями любовались своим отражением.

Я тогда был еще молод — боже мой, ведь это было четверть века назад! — и я хотел насладиться всей красотой мира за то короткое время, что мне осталось до смерти. Когда я впервые попал сюда, у меня дух захватило, и я думал, что заплачу. Я в жизни не видел такой красоты. Мне было всего двадцать пять лет, и я храбрился — умирать мне не хотелось. И мне почему-то показалось, что самая красота этого места поможет мне примириться с судьбой... Когда я приехал сюда, я почувствовал, что все мое прошлое куда-то исчезло — Стокгольм и Стокгольмский университет, и затем Бонн, как будто это была чья-то чужая жизнь; как будто я только сейчас постиг ту реальность жизни, о которой так много говорят наши доктора философии — между прочим, я и сам доктор философии. «Один год, — сказал я себе, — мне остался один год. Я проведу его здесь, а потом я готов умереть».

Как мы глупы, сентиментальны, мелодраматичны, когда нам двадцать пять лет, но, если б не это, может быть, тогда к пятидесяти годам мы не были бы такими умудренными... Пейте, мой друг, пейте! Не обращайте внимания на мою болтовню.

Он жестом указал на бутылку, и шкипер допил свой стакан.

— А вы-то сами ничего не пьете? — спросил он, беря бутылку.

— Я трезвенник, — улыбнулся швед. — Я опьяняю себя другими, более тонкими способами. Но может быть, это просто тщеславие. Во всяком случае, эффект получается более длительный, а результаты менее пагубны.

— Говорят, в Штатах сейчас многие нюхают кокаин, — сказал шкипер.

Нейлсон только усмехнулся.

— Я редко вижу белых, и раз в жизни глоток виски, пожалуй, мне не повредит.

Он налил себе немного виски, добавил содовой и отпил из стакана.

— Наконец я понял, почему это место отличалось такой неземной красотой. Здесь на миг задержалась любовь, как перелетная птица, которая, случайно встретив корабль среди океана, садится на мачту и ненадолго складывает усталые крылья. Благоухание прекрасной страсти носилось здесь в воздухе, как аромат боярышника на лугах моей родины в мае. Мне кажется, что там, где люди сильно любили или сильно страдали, навсегда сохраняется слабый аромат чувства, как будто оно полностью не умирает, как будто эти места приобретают некую духовную значимость, которая таинственным образом отражается на тех, кто попадает туда. Жаль, что я не могу яснее это выразить, — он слегка улыбнулся, — но все равно, навряд ли вы и тогда поняли бы, что я хочу сказать.

Нейлсон помолчал.

— Может быть, это место казалось мне таким красивым, потому что здесь я пережил красивую любовь. — Он пожал плечами. — А может быть, просто моему эстетическому чувству импонировало удачное сочетание молодой любви и соответствующей оправы.

Даже человек, менее тупой, чем шкипер, был бы озадачен словами Нейлсона, потому что Нейлсон, казалось, сам посмеивался над тем, что говорил. Как будто его откровенность диктовалась чувством, которое разум находил смешным. Он сам назвал себя сентиментальным, но, если к сентиментальности примешивается скепсис, из этого иногда черт знает что получается.

Нейлсон замолк на минуту и посмотрел на шкипера с внезапным любопытством, как бы силясь припомнить что-то.

— Вы знаете, мне все мерещится, что я вас уже где-то встречал, — сказал он.

— Я что-то не припоминаю, — возразил шкипер.

— Странное чувство, как будто ваше лицо мне знакомо. Я все пытаюсь вспомнить, где и когда я вас видел.

Шкипер пожал плечами.

— Уже тридцать лет, как я на островах. Где же тут упомнить всех, с кем встречался за такой срок.

Швед покачал головой.

— Знаете, иногда чувствуешь, что тебе почему-то знакомо место, где ты никогда не бывал. Вот у меня такое же ощущение, когда я смотрю на вас. — На лице его появилась странная улыбка. — А может быть, вы были начальником галеры в древнем Риме, а я рабом у весла. Так вы говорите, что прожили здесь тридцать лет?

— Тридцать, как один год.

— Не встречался ли вам человек, по прозвищу Рыжий?

— Рыжий?

— Я его знаю только под этим прозвищем. Сам я никогда не был с ним знаком и даже в глаза его не видал. И все же я представляю его себе яснее, чем многих других, например моих братьев, которых я видел ежедневно в течение многих лет. Он живет в моем воображении так же ясно, как Паоло Малатеста или Ромео. Впрочем, вы, вероятно, не читали ни Данте, ни Шекспира?

— Да вроде нет, — ответил шкипер.

Нейлсон, покуривая сигару, откинулся на спинку кресла и отсутствующим взглядом смотрел на плававший в неподвижном воздухе дым. На губах его играла улыбка, но глаза были серьезны.

Затем он взглянул на шкипера. В неимоверной тучности последнего было что-то отталкивающее. Его лицо отражало безграничное самодовольство, свойственное очень толстым людям. Это было возмутительно, это действовало Нейлсону на нервы. Однако контраст между его гостем и тем человеком, которого он мысленно представлял себе, был приятен ему.

— Похоже на то, что этот Рыжий был красавец хоть куда. Я разговаривал со многими людьми, к тому же белыми, которые знавали его в те дни, и все в один голос утверждали, что он был ослепительно красив.

Рыжим его прозвали за огненные волосы. Они вились от природы, и он носил длинную шевелюру. Должно быть, это был тот чудесный оттенок, на котором были помешаны прерафаэлиты. Не думаю, что он гордился своей шевелюрой — для этого он был слишком прост, — но, если бы и гордился, никто не осудил бы его за такое тщеславие.

Он был высокого роста, шести футов с лишним. В туземной хижине, которая здесь раньше стояла, на центральном столбе, поддерживавшем крышу, была зарубка, отмечавшая его рост. Сложен он был, как греческий бог, широкий в плечах, с узкими бедрами; в его фигуре была та мягкость линий, которую придал Пракситель своему Аполлону, и та же неуловимая женственная грация, волнующая и таинственная. Его кожа была ослепительно белая, бархатистая, как у женщины.

— У меня у самого была довольно белая кожа, когда я был мальчишкой, — сказал шкипер, и его налитые кровью глаза сощурились в усмешке.

Но Нейлсон как бы не слышал его. Он увлекся своим рассказом и не хотел, чтобы его перебивали.

— Лицо его было так же прекрасно, как и тело. У него были большие синие глаза, такие темные, что некоторые утверждали, что они черные. И в отличие от большинства рыжих — темные брови и длинные темные ресницы. Черты лица у него были абсолютно правильные, а рот похож на кровавую рану. Ему было двадцать лет. — На этом швед выдержал драматическую паузу и отпил глоток виски. Затем он продолжал: — Он был неповторим. Не было человека красивее его. Он был как чудесный цветок на диком растении, — счастливая прихоть Природы.

Однажды Рыжий высадился в той бухте, где вы, должно быть, сегодня утром бросили якорь. Он был американским матросом и дезертировал с военного корабля в Апии. Он уговорил какого-то добросердечного туземца подвезти его на катере, шедшем из Апии в Сафоро. Здесь его ссадили на берег. Почему он дезертировал, я не знаю. Может быть, ему пришлась не по вкусу жизнь на военном корабле с ее строгостями; может быть, у него были неприятности; а может быть, просто на него подействовали Южные моря и эти романтические острова. Иногда они странно действуют на человека, он оказывается пойманным, как муха в паутину. Возможно, он был не в меру впечатлителен, и эти зеленые холмы, этот разнеживающий климат, это синее море отняли у него его силу северянина, как Далила отняла силу у Самсона. Так или иначе, ему нужно было скрыться, и он решил, что здесь можно прожить в безопасности до тех пор, пока его корабль не уйдет с Самоанских островов.

На берегу лагуны была туземная хижина, и, пока Рыжий стоял здесь, не зная, куда ему направиться, из хижины вышла девушка и пригласила его войти. Он знал не более двух-трех слов на туземном языке, а она столько же по-английски. Но он отлично понял, что означали ее улыбки и приветливые жесты, и последовал за нею. Он сел на циновку, и она угостила его ломтиками ананаса.

О Рыжем я знаю только понаслышке, но девушку я сам видел через три года после их встречи. Тогда ей было всего девятнадцать лет. Вы не можете себе представить, как она была прелестна. В ней была чувственная грация и богатые краски тропического цветка. Высокая, стройная, с тонкими чертами, присущими ее народу, с большими глазами, похожими на тихие заводи под пальмами. Ее черные вьющиеся волосы рассыпались по спине, а голова была увенчана душистыми цветами. У нее были очаровательные руки, такие маленькие, такой прекрасной формы, что от одного взгляда на них дух захватывало.

В те дни она охотно смеялась. Улыбка у нее была такая нежная, что сердце замирало, а кожа золотилась, как пшеничное поле в солнечный день.

Боже! Как мне описать ее? Она была сказочно хороша.

И эти юные создания — ей было шестнадцать лет, а ему двадцать — влюбились друг в друга с первого взгляда. Такова истинная любовь, не та любовь, которая вырастает из взаимной симпатии, общих интересов, духовной близости, но любовь простая, первозданная. Так полюбил Адам Еву, когда он проснулся и впервые увидел ее в саду, смотрящую на него влажными глазами. Это была та любовь, которая влечет друг к другу зверей и богов. Та любовь, которая делает мир чудом. Та любовь, которая дает жизни ее внутренний смысл. Вы никогда, вероятно, не слышали об умном и циничном французском герцоге, который сказал, что из двух любовников всегда один любит, а другой только позволяет себя любить; это горькая истина, с которой большинство из нас вынуждено мириться. И очень редко бывает так, что оба любят одинаково. Тогда, наверно, само солнце останавливается, как остановилось оно, когда Иисус Навин воззвал к богу Израиля.

Даже теперь, после стольких лет, когда я вспоминаю об этих юных существах, таких прекрасных, простых, и об их любви, у меня щемит сердце. Оно сжимается так же, как это иногда бывает, когда я ночью смотрю на полную луну, сияющую в чистом небе над тихой лагуной. Созерцание идеальной красоты всегда рождает боль.

Они были детьми. Девушка была добрая, милая и нежная. О нем я ничего не знаю, но хочу думать, что по крайней мере в то время он был бесхитростным и чистосердечным. Мне хочется думать, что душа его была так же прекрасна, как его тело. Но очень возможно, что у него было не больше души, чем у населявших леса созданий, которые делали свирели из камыша и купались в горных ручьях и озерах, когда мир был еще молод и когда маленькие фавны скакали по долинам верхом на бородатых кентаврах. Беспокойная вещь — душа, и с тех пор, как человек приобрел ее, он лишился Эдема.

Да, так вот, незадолго до появления Рыжего на острове здесь разразилась эпидемия, одна из тех, которые заносит в страны Южных морей белый человек; треть обитателей острова вымерла. Девушка потеряла всех своих родных и жила у дальних родичей. Вся семья состояла из двух древних старух, морщинистых и сгорбленных, двух женщин помоложе, мужчины и мальчика.

Рыжий пробыл у них несколько дней. Но то ли его смущала близость берега и возможность встречи с белыми, которые выдадут его убежище, то ли влюбленные не хотели, чтобы посторонние хоть на минуту лишали их радости быть вдвоем; так или иначе, однажды они оба, забрав с собой нехитрые пожитки девушки, отправились в путь по заросшей травой тропинке под кокосовыми пальмами и пришли к речке, которую вы сейчас видите. Им пришлось перейти мостик, по которому и вы переправлялись, и девушка весело смеялась над робостью Рыжего. Она довела его за руку до конца первого ствола, но тут мужество покинуло его, и ему пришлось вернуться. Он был вынужден снять с себя всю одежду, прежде чем снова рискнул ступить на мост, и девушка перенесла его вещи на голове.

Они поселились в пустой хижине, которая стояла здесь. То ли девушка имела на нее какие-либо права (права на землю на этих островах — сложная вещь), то ли хозяин хижины умер во время эпидемии, во всяком случае, никто их ни о чем не спрашивал, и они завладели хижиной. Вся их обстановка состояла из пары циновок, на которых они спали, осколка зеркала и двух-трех мисок. Но в таком благословенном уголке этого было вполне достаточно, чтобы зажить своим домом.

Говорят, что у счастливых людей нет истории и, уж конечно, ее нет у счастливой любви. Они целыми днями ничего не делали, и все же дни казались им слишком короткими. У девушки было туземное имя, но Рыжий звал ее Салли. Он быстро научился несложному языку туземцев и часами лежал на циновке, слушая ее веселый щебет. Он был молчалив, а может быть, ум его еще не пробудился... Он беспрестанно курил сигареты, которые она делала ему из туземного табака и листьев пандана, и наблюдал, как она своими ловкими пальцами плела циновки из травы.

К ним часто заходили туземцы; они рассказывали длинные истории о былых временах, когда на острове шла война между племенами. Иногда Рыжий рыбачил на рифе и приносил корзину разноцветной рыбы. Иногда ночью он уходил с фонарем ловить омаров. Вокруг хижины росли бананы. Салли пекла их, и это тоже было частью их скромной пищи. Салли умела делать вкуснейшие кушанья из кокосовых орехов, а хлебное дерево, росшее на берегу речки, давало им свои плоды. По праздникам закалывали поросенка и жарили мясо на горячих камнях. Они вместе купались в речке, а вечером катались на челноке по лагуне.

На закате темно-синее море окрашивалось в цвет красного вина, как море гомеровской Греции; в лагуне же оно переливалось всеми оттенками, от аквамарина до аметиста и изумруда; а лучи заходящего солнца на короткое время придавали ему вид жидкого золота. В море были кораллы всех цветов: коричневые, белые, розовые, красные, фиолетовые. Они были похожи на волшебный сад, а сновавшие в воде рыбы — на бабочек. Все это напоминало сказку. Среди зарослей кораллов встречались открытые места с белым песчаным дном и с кристально чистой водой, в которой очень хорошо было купаться.

Уже в сумерках они медленно, держась за руки, возвращались к себе по заросшей мягкой травой тропинке, освеженные и счастливые. Птицы майна наполняли кокосовые рощи своим щебетом. Наступала ночь, и огромное небо, сверкавшее золотыми звездами, казалось шире, чем небо в Европе, а легкий ветерок продувал их открытую хижину. Но и эта длинная ночь тоже казалась им слишком короткой.

Ей было шестнадцать, а ему едва минуло двадцать лет. Рассвет проникал между столбов хижины и смотрел на этих прелестных детей, спавших в объятиях друг друга. Солнце, чтобы не потревожить их, сначала пряталось за большими резными листьями бананов, а затем его золотой луч, как будто лапка ангорской кошки, лукаво трогал их лица. Они открывали сонные глаза и улыбкой встречали новый день.

Недели превращались в месяцы, прошел год. Они, казалось, любили друг друга так же — я не хочу сказать страстно, потому что в страсти всегда есть оттенок печали, примесь горечи или муки, — но так же безгранично, так же просто и естественно, как в тот день, когда они впервые встретились и поняли, что в них вселилось божество.

Я уверен, что они не допускали мысли, что их любовь может когда-нибудь иссякнуть. Разве мы не знаем, что главное в любви — это вера в то, что она будет длиться вечно. И все-таки, может быть, в Рыжем уже таилось крошечное семя будущего пресыщения, о котором ни он, ни девушка не подозревали, когда однажды туземец, приехавший со взморья, сказал им, что недалеко от берега стало на якорь английское китобойное судно.

— Вот здорово! — сказал Рыжий. — Уж не попробовать ли мне добыть у них фунта два табаку в обмен на орехи и бананы?

Сигареты из пандановых листьев, которые Салли без устали крутила ему, были крепкими и достаточно приятными на вкус, но они не удовлетворяли его; ему вдруг ужасно захотелось настоящего табаку, забористого и пахучего. Много месяцев он не курил трубки, и при одной мысли об этом у него потекли слюнки.

Можно было бы ожидать, что Салли почует недоброе и попытается его отговорить, однако любовь переполняла ее настолько, что она и подумать не могла о том, что есть такая сила на земле, которая может отнять у нее Рыжего. Они вместе отправились на холмы, набрали большую корзину диких апельсинов, зеленых, но сладких и сочных; возле хижины они нарвали бананов, кокосовых орехов, плодов хлебного дерева и манго и все это снесли на берег. Нагрузив утлый челнок, Рыжий вместе с мальчиком-туземцем, тем самым, который сообщил им о прибытии судна, поплыл за риф.

Больше Салли его никогда не видела.

На другой день мальчик вернулся один, весь в слезах. Он рассказал, что, когда они добрались до судна, и Рыжий окликнул людей на борту, показался белый человек и позвал их наверх. Захватив с собой привезенные фрукты, Рыжий вывалил их на палубу. Белый человек заговорил с Рыжим, и они, как видно, о чем-то условились. Один из матросов пошел вниз и принес табаку. Рыжий тут же набил трубку и закурил. Мальчик показал, с каким удовольствием он затянулся и выпустил большой клуб дыма.

Затем они ему что-то сказали, и он вошел в каюту.

Мальчик, с любопытством наблюдая через открытую дверь, видел, как принесли бутылку и стаканы. Рыжий пил и курил.

Белые, по-видимому, задали ему какой-то вопрос, потому что он покачал головой и засмеялся. Человек, который первым заговорил с ними, тоже смеялся и снова наполнил стакан Рыжего. Они продолжали разговаривать и пить, и мальчик, устав в конце концов наблюдать зрелище, смысла которого он не мог уловить, свернулся калачиком на палубе и заснул.

Он проснулся от пинка; вскочив на ноги, он увидел, что корабль медленно выходит из лагуны. Рыжий крепко спал, сидя за столом и положив отяжелевшую голову на руки. Мальчик шагнул было к нему, чтобы разбудить его, но чья-то рука грубо схватила его за плечо, и хмурый матрос, обругав его на непонятном ему языке, указал на борт. Тогда он громко окликнул Рыжего, но в ту же секунду его схватили и швырнули в воду. Поняв, что он ничего не может сделать, он подплыл к своему челноку, дрейфовавшему неподалеку, подогнал его к рифу, влез в него и, плача, стал грести к берегу.

Объяснялось все это просто. На китобойном судне не хватало матросов — то ли они болели, то ли разбежались, — и капитан предложил Рыжему завербоваться, а когда тот отказался, напоил его и просто увез.

Салли была вне себя от горя. В течение трех дней она рыдала и билась в отчаянии. Туземцы всячески старались утешить ее, но напрасно. Она ничего не ела. А потом, совсем обессилев, погрузилась в мрачную апатию.

Долгие дни она проводила на берегу, не спуская глаз с лагуны, в тщетной надежде на то, что Рыжему как-нибудь удастся сбежать. Она часами сидела на белом песке, и слезы лились у нее по щекам, а с наступлением ночи устало брела через речку к маленькой хижине, где она когда-то была счастлива. Люди, с которыми она жила до появления Рыжего на острове, уговаривали ее возвратиться к ним, но она отказалась: она была уверена, что Рыжий вернется, и хотела, чтобы он нашел ее на том же месте, где оставил.

Четыре месяца спустя она родила мертвого ребенка, и старуха, которая пришла помочь ей при родах, осталась жить в ее хижине.

Из ее жизни ушла вся радость. Хотя с течением времени ее боль перестала быть такой невыносимой, на смену ей пришла постоянная меланхолия. Нельзя было себе представить, что среди этого народа, чьи чувства бурны, но мимолетны, найдется женщина, способная на такую длительную страсть. Она не переставала верить, что рано или поздно Рыжий вернется. Она ждала его, и каждый раз, когда кто-нибудь шел по узкому мостику, она поднимала голову в надежде, что наконец увидит его...

Нейлсон умолк и слегка вздохнул.

— Что же с ней было дальше? — спросил шкипер.

Нейлсон горько усмехнулся.

— Через три года она сошлась с другим белым.

— Так у них обычно и бывает, — сказал шкипер с циничным смешком.

Швед бросил на него взгляд, полный ненависти. Он не знал, почему этот грубый, ожиревший человек вызывал в нем такое отвращение. Вскоре, однако, мысли его отвлеклись, и на него нахлынули воспоминания.

Они перенесли его на двадцать пять лет назад, к той поре, когда он впервые приехал на остров из Апии, надоевшей ему своим пьянством, азартными играми и грубым развратом. Он был тяжело болен и пытался привыкнуть к мысли о крушении карьеры, с которой связывал столько честолюбивых мечтаний. Отбросив всякую надежду стать когда-нибудь знаменитым, он старался заставить себя быть довольным теми немногими месяцами осторожной жизни, на которые мог рассчитывать, если будет беречь себя.

Он поселился у метиса-торговца, которому принадлежала лавка на берегу, милях в двух отсюда, на окраине туземной деревни. Однажды, бесцельно бродя по заросшим травой тропинкам среди кокосовых пальм, он наткнулся на хижину, в которой жила Салли. Красота этого уголка породила в его душе огромный, чуть ли не болезненный восторг. И тут он увидел Салли.

Более красивого создания он еще никогда не встречал, а печаль в ее великолепных черных глазах вызвала в нем странное чувство. Канаки — красивый народ, но красота их скорее напоминает красоту животных. Она пуста. Однако трагические глаза Салли хранили какую-то тайну; в них отражалась вся растерянность и горечь израненной души. Торговец рассказал ему историю Салли, и она тронула его.

— Как по-вашему. Рыжий когда-нибудь вернется? — спросил Нейлсон.

— Какое там! Ведь команду рассчитают не раньше чем года через два, а к тому времени он забудет и думать о Салли. Уверен, что когда он проснулся и понял, что его нарочно споили и увезли, он порядком взбесился и, наверное, даже полез в драку. Но в конце концов ему пришлось смириться, а через месяц он, наверное, был рад-радешенек, что уехал с острова.

Нейлсон не мог выбросить этот рассказ из головы. Может быть, именно потому, что сам он был больной и слабый, брызжущее через край здоровье Рыжего импонировало его воображению. Будучи сам некрасив, с незначительной внешностью, он высоко ценил красоту в других. Он никогда страстно не любил и тем более никогда не был страстно любим. Почему-то взаимная привязанность этих двух юных созданий бесконечно радовала его. В ней была совершенная красота, говорящая о Вечном.

Он снова отправился к маленькой хижине у реки. У него были способности к языкам и энергичный ум, привыкший работать. Он посвятил уже немало времени изучению туземного языка. Теперь в силу старой привычки он собирал материал для научной работы по языку самоанцев.

Старуха, жившая у Салли, пригласила его войти и присесть. Она угостила его кавой и сигаретами. Она была рада, что ей есть с кем поболтать, а он, пока старуха говорила, разглядывал Салли. Она напомнила ему Психею из Неаполитанского музея. У нее были такие же четкие и чистые черты лица, и хотя она уже прошла через материнство, выглядела она как юная девушка.

Лишь после второй или третьей встречи Нейлсон услышал ее голос. Но и тогда она нарушила молчание лишь для того, чтобы спросить, не встречал ли он в Апии человека по прозвищу Рыжий. Два года прошло с его исчезновения, но было ясно, что она непрестанно думает о нем.

Вскоре Нейлсон понял, что он влюблен. Только усилием воли он заставлял себя не ходить к речке каждый день; но, даже когда он не видел Салли, его мысли были о ней.

Сначала, считая себя обреченным, он стремился лишь видеть ее, лишь изредка слышать ее голос, и его любовь была для него источником огромного счастья. Он радовался чистоте своего чувства. Он ничего не хотел от Салли, он хотел только сплетать вокруг этой грациозной девушки узор чудесных фантазий.

Но свежий воздух, ровный климат, отдых, простая пища оказали неожиданное действие на его здоровье. У него прекратились опасные ночные скачки температуры, он стал меньше кашлять и прибавил в весе; полгода у него не было кровохарканья, и тогда он вдруг понял, что, может быть, выживет. Он тщательно изучал свою болезнь, и у него появилась надежда, что, соблюдая осторожность, он может пресечь ее развитие.

Возможность снова думать о будущем воодушевила его. Он стал строить планы. Было ясно, что ни о какой напряженной деятельности не может быть и речи; но он мог жить на островах, а его небольшого дохода, которого было бы недостаточно во всяком другом месте, здесь ему вполне хватит. Он станет выращивать кокосовые пальмы, — значит, будет чем заняться; и он выпишет свои книги и рояль; но он быстро понял, что всем этим он только пытается скрыть от себя охватившую его страсть.

Ему нужна была Салли. Он любил не только ее красоту, но и ее душу, которую смутно угадывал по выражению ее страдальческих глаз. Он опьянит ее своей страстью. Он заставит ее забыть. И, отдаваясь нахлынувшему на него чувству, он представлял себе, что сможет дать ей то счастье, которое он считал навсегда утраченным для себя и которое так чудесно обрел.

Он предложил ей жить с ним. Она отказалась. Отказ его не обескуражил — он ожидал его. Но он был уверен, что рано или поздно она уступит. Его любовь одолеет все.

Он сказал старухе о своих намерениях и не без удивления убедился, что и старуха и соседи, давно разгадав их, усиленно уговаривали Салли принять его предложение. Ведь каждая туземная женщина была рада стать хозяйкой в доме белого человека, а Нейлсон, по местным понятиям, был богат.

Торговец, у которого он жил, пошел к Салли и убеждал ее не быть дурой; такая возможность больше не представится, и теперь, когда прошло столько времени, нельзя рассчитывать, что Рыжий вернется.

Сопротивление девушки только подстегнуло Нейлсона, и то, что прежде было очень чистой любовью, превратилось в мучительную страсть. Он твердо решил смести все преграды. Он не давал Салли покоя. Наконец, сломленная его настойчивостью и то ласковыми, то сердитыми увещеваниями всех окружающих, она согласилась.

Но когда на следующий день он пришел к ней, переполненный радостным чувством, то обнаружил, что ночью она сожгла хижину, в которой когда-то жила с Рыжим. Старуха выбежала ему навстречу, сердито ругая Салли, но он отмахнулся от нее; это неважно, они построят бунгало на том месте, где стояла хижина. Европейский дом будет даже удобнее, раз он собирается выписать сюда рояль и много книг.

Так появился деревянный домик, в котором он впоследствии прожил много лет, и Салли стала его женой. Но после первых недель восторгов, когда Нейлсон удовлетворялся тем, что она давала ему, он все-таки знал мало счастья. Она покорилась ему, потому что устала сопротивляться, но отдала только то, чему не придавала цены. Душа ее, которую он смутно угадывал, ускользала от него. Он знал, что она совершенно равнодушна к нему. Она все еще любила Рыжего и все время ждала его возвращения. Нейлсон знал, что, невзирая на всю его любовь, его нежность, его сочувствие и щедрость, она бросила бы его без малейшего колебания по первому знаку Рыжего. Она даже не задумалась бы о том, какое горе это ему причинит.

Для него это стало мукой; он тщетно пытался пробить непроницаемую стену, которую она воздвигла вокруг себя. К его любви примешалась горечь. Он старался растопить сердце Салли добротой, но оно оставалось таким же холодным; он притворялся равнодушным — она не замечала этого. Иногда он выходил из себя и ругал ее, и тогда она молча плакала. Иногда он думал, что сам себя обманул, сам выдумал ее душу и что он потому не может проникнуть в святая святых ее сердца, что этого святая святых вообще не существует.

Его любовь стала тюрьмой, из которой он стремился бежать, но у него не хватало силы просто открыть дверь — большего и не требовалось — и выйти на свободу. Это было мучением, и под конец он потерял надежду и уже не чувствовал боли. Огонь его страсти выгорел, и, когда он видел, что ее взгляд на секунду задерживается на мостике, его охватывала уже не ярость, а досада. Они прожили вместе много лет, связанные узами привычки и удобства, и сейчас он с улыбкой вспоминал свою былую страсть. Она была уже старой женщиной, потому что женщины на островах старятся быстро, и он уже не любил ее, но научился относиться к ней снисходительно. Она больше не была ему нужна. Он вполне довольствовался своим роялем и книгами.

Эти мысли вызвали в Нейлсоне желание говорить.

— Когда я оглядываюсь назад и думаю о краткой, но страстной любви Рыжего и Салли, мне кажется, что, пожалуй, они должны благодарить безжалостную судьбу, которая разлучила их, когда их любовь, казалось, была еще в зените. Они страдали, да, но страдания их были красивы. Истинная трагедия любви миновала их.

— Я что-то не совсем вас понимаю, — сказал шкипер.

— Трагедия любви — это не смерть и не разлука. Ведь как знать, сколько бы еще длилась их любовь. Как горько смотреть на женщину, которую когда-то любил всем сердцем, всей душой — любил так, что ни минуты не мог быть без нее, — и сознавать, что ты ничуть не был бы огорчен, если бы больше никогда ее не увидел. Трагедия любви — это равнодушие.

Но пока Нейлсон говорил, произошло нечто очень странное. Хотя он обращался к шкиперу, он говорил не с ним; он просто излагал свои мысли для себя, глядя при этом на человека, сидевшего перед ним. Но вдруг в его сознании возник образ — образ не того, кого он видел перед собой, а другого. Он как будто смотрел в кривое зеркало, которое делает человека или необычайно толстым, или ужасно длинным; только сейчас происходило как раз обратное: в отталкивающем тучном старике он вдруг на мгновение увидел образ юноши.

Он пристально вгляделся в своего гостя. Почему случайная прогулка завела его именно сюда?

У него внезапно дрогнуло сердце. Нелепое подозрение вдруг зародилось в нем. Это казалось немыслимым, а между тем...

— Как ваше имя? — спросил он резко.

Шкипер прищурился и хитро усмехнулся. На лице его появилось злорадное и отвратительно вульгарное выражение.

— Черт побери, меня уже так давно никто не называл по имени, что я и сам почти забыл его; но вот уже тридцать лет, как здесь, на островах, меня все зовут Рыжим.

Его тучное тело затряслось от тихого, почти неслышного смеха. Это было омерзительное зрелище.

Нейлсона передернуло. А Рыжего все это, видимо, очень забавляло, и от смеха в его налитых кровью глазах выступили слезы.

Нейлсон вздрогнул, потому что в эту минуту в комнату вошла женщина. Это была благообразная туземка, полная, но не тучная, очень смуглая — кожа туземцев с возрастом темнеет — и совершенно седая. На ней было свободное платье из тонкой черной ткани, сквозь которую просвечивали ее тяжелые груди. Критический момент наступил.

Женщина что-то сказала Нейлсону насчет домашних дел. Когда он отвечал ей, собственный голос показался ему неестественным, но он не был уверен, почувствовала ли она это. Женщина равнодушно посмотрела на человека, сидевшего у окна, и вышла из комнаты. Критический момент наступил — и прошел.

Нейлсон не мог выговорить ни слова. Он был потрясен. Затем он все же заставил себя сказать:

— Буду рад, если вы останетесь и перекусите со мной, чем бог послал.

— Боюсь, что не смогу, — сказал Рыжий. — Я должен разыскать этого самого Грэя. Отдам ему его товары и уеду обратно. Мне нужно завтра же быть в Апии.

— Я пошлю мальчика проводить вас.

— Вот и прекрасно.

Рыжий с трудом поднял свое грузное тело с кресла, а швед позвал одного из мальчишек, работавших на плантации. Он объяснил ему, куда нужно идти шкиперу, и мальчик пошел через мостик. Рыжий приготовился следовать за ним.

— Не свалитесь! — сказал Нейлсон.

— Ни в жизнь!

Нейлсон следил за ним, и, когда тот исчез за кокосовыми пальмами, он продолжал неподвижно стоять у окна. Затем он тяжело опустился на стул. Неужели это и был тот человек, которого Салли любила все эти годы и которого она так отчаянно ждала. Какая чудовищная насмешка! Внезапно бешенство охватило его. Ему захотелось вскочить и крушить все вокруг. Его обманули. Они встретились наконец и не узнали друг друга. Он невесело засмеялся, и смех его, становясь все громче, напоминал истерику. Боги сыграли над ним жестокую шутку. А сейчас он уже стар...

Наконец вошла Салли и сказала, что обед готов. Он сидел напротив нее и пытался есть. Что бы она сказала, если бы знала, что толстый старик, только что сидевший здесь в кресле, был тот возлюбленный, которого она все еще помнила со всем пылом юности. Много лет назад, когда он ненавидел ее за то, что она так его мучила, ему доставило бы удовольствие сказать ей это. Он тогда хотел причинить ей боль, такую же, какую она причиняла ему, потому что его ненависть была та же любовь.

Но сейчас ему было все равно. Он безразлично пожал плечами.

— Что нужно было тому человеку? — спросила она.

Он не сразу ответил. Она тоже была старая. Толстая старая туземка. Ему уже было непонятно, почему он когда-то любил ее так безумно. Он сложил к ее ногам все сокровища своей души, а ей это было совершенно не нужно.

Зря! Все зря!

Сейчас, когда он смотрел на нее, он чувствовал только презрение. Хватит терпеть!

Он ответил:

— Это был капитан шхуны. Приехал из Апии.

— А...

— Он привез мне новости из дома. Мой старший брат очень болен, и я должен вернуться.

— Вы надолго уезжаете?

Он пожал плечами.